

Ю. П. Петров

ЗАПИСКИ ПРОФЕССОРА



Ю. П. ПЕТРОВ

ЗАПИСКИ ПРОФЕССОРА

Санкт-Петербург

«БХВ-Петербург»

2010

УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2
ПЗ0

Петров Ю. П.

ПЗ0 Записки профессора. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 176 с.

ISBN 978-5-9775-0489-8

Автор — профессор, научный работник, известный изобретатель — рассказывает о своей жизни, о трудностях, стоящих на путях становления инженера и научного работника, и о способах их преодоления, рассказывает о научных учреждениях и учебных заведениях, в которых пришлось работать, об опыте участия в общественной и политической жизни, об интересных людях, встречавшихся на его жизненном пути.

Для широкого круга читателей

УДК 681.3.06
ББК 32.973.26-018.2

Группа подготовки издания:

Главный редактор	<i>Екатерина Кондукова</i>
Зам. главного редактора	<i>Татьяна Лапина</i>
Зав. редакцией	<i>Григорий Добин</i>
Компьютерная верстка	<i>Натальи Караваевой</i>
Корректор	<i>Виктория Пиотровская</i>
Дизайн обложки	<i>Елены Беляевой</i>
Зав. производством	<i>Николай Тверских</i>

Лицензия ИД № 02429 от 24.07.00. Подписано в печать 27.08.09.

Формат 70×100¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11.

Тираж 1500 экз. Заказ №

"БХВ-Петербург", 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию
№ 77.99.60.953.Д.005770.05.09 от 26.05.2009 г. выдано Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-9775-0489-8

© Петров Ю. П., 2009
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга предназначена для тех, кто интересуется техникой и наукой, и особенно — их внутренним развитием. Все мы знаем, что постоянно появляются новинки техники, которыми мы с удовольствием пользуемся, знаем, что эти новинки создаются на основе научных разработок и открытий.

Но как создаётся новая техника, как выполняются научные исследования, что препятствует им и что помогает — обо всём этом я рассказываю на основе своего опыта, опыта богатого, поскольку судьба подарила мне возможность проработать в технике и науке более 55 лет, позволила побыть и моряком, и изобретателем, и профессором.

Надеюсь, что эта книга поможет студентам, молодым инженерам и научным работникам лучше узнать не простой механизм научных учреждений и высших учебных заведений, позволит избежать хотя бы части ошибок, которые в большом количестве делал я.

Надо всегда помнить, что человек вырастает из семьи. Поэтому первая глава книги — это рассказ о семье, о людях, которые жили в столь не простую первую половину ушедшего двадцатого века. Сейчас осталось уже не много людей, хранящих живую память о тех тяжёлых временах, и надо воспользоваться возможностью ещё раз рассказать о них.

Там, где речь идёт о ныне живущих людях, я, как правило, не привожу фамилий.

Глава первая

СЕМЬЯ

Я происхожу не из дворянской, а из крестьянской семьи, поэтому отдалённые предки мои мне не известны, в глубь времён память меня не ведёт. Я знаю только, что в конце 19 века в небольшой деревне недалеко от Волги, на самой окраине старинного русского города Рыбинска жил мой дед — крестьянин Павел Иванович Петров. Был он женат на дочери священника — Софье Васильевне Лапиной, и молодая семья жила обычной трудовой крестьянской жизнью. Все три старших сына Павла Петрова, с юных лет помогая отцу по крестьянскому хозяйству, не получили даже начального образования. Уже в 1923 году, когда у старшего сына Фёдора попросил свой сын и пошёл в школу учиться грамоте, вместе с ним пошёл и отец; отец и сын одновременно постигали грамоту и счёт.

Однако со временем материальное положение семьи улучшилось, да и близость быстро разраставшегося города Рыбинска позволяла не только крестьянствовать, но и заниматься торговлей. Поэтому когда в 1901 году после трёх сыновей в семье последней родилась единственная дочь — Любовь, то её уже отдали учиться — сперва в епархиальное училище, а затем и в гимназию, которую будущая Любовь Павловна — моя мать — кончила в 1917 году.

То, что она училась в гимназии, а братья её не были даже тверды в грамоте, создавало известное отчуждение между ней и братьями, которые к тому же были существенно старше её. Дружбы между сестрой и братьями не было. Гораздо ближе юной гимназистке была семья её дяди — брата матери Варфоломея Васильевича Лапина, который ещё молодым уехал в Петербург, где

стал потом одним из первых деятелей зародившегося в России после революции 1905 года профсоюзного движения, много лет возглавлял один из профсоюзов трамвайщиков. Варфоломей Васильевич работал слесарем в трамвайном депо, но детям своим стремился дать высшее образование. Кроме старшей дочери Августины, рано вышедшей замуж, младшая дочь Наталья стала учительницей, сын Александр — бухгалтером, младший сын Иван успел до 1918 года кончить три курса Политехнического института. Все они часто приезжали к родственникам в Рыбинск, рассказывали о Петербурге, и путь молодой девушки, только что неплохо окончившей гимназию, был предопределён — конечно в Петербург, конечно учиться. Наверное, она поехала бы в Петербург в 1918 году, но вмешались революционные события.

В 1917 году после Февральской революции 1917 года, ещё будучи гимназисткой, мама с увлечением бегала на митинги различных политических партий, внимательно слушала ораторов, стараясь разобраться, на чьей стороне правда. Потом она рассказывала мне, что наиболее убедительными ей казались ораторы — большевики.

Гражданская война не обошла семьи Петровых и Лапиных. Все три брата матери — мои дяди, ушли в Красную армию, воевали. Брат Михаил был тяжело ранен, остался инвалидом, без ноги. А вот в семье Варфоломея Лапина произошёл раскол: Александр Варфоломеевич вступил в Коммунистическую партию, а молодой Иван Варфоломеевич — в 1917 году студент Политеха — в числе многих студентов ушёл в белую армию, а после её поражения вместе с полками Врангеля из Севастополя эвакуировался в Болгарию и остался там. Техническое образование, хотя и незаконченное, хорошо помогло: его взяли на работу в болгарское отделение известной немецкой электротехнической фирмы «Сименс». В 1926 году Иван Варфоломеевич уже руководил установкой электрического освещения во дворце болгарского царя в Софии. До этого даже царский дворец освещался только свечами и керосиновыми лампами. Потом после дворца настал черёд перевода на электричество жилых домов Софии, работы для электрика было много. Иван Варфоломеевич стал в Софии известным и уважаемым человеком, женился на болгарке и дети его — я их увидел в 1963 году — уже болгары, по-русски ещё говорят, но с трудом и неуверенно.

В ходе гражданской войны Рыбинск не переходил из рук в руки, но всё же в июле 1918 года там был вооружённый мятеж,

его подавляли артиллерийским огнём, батарея стояла около родительского дома. Через много лет мама с ужасом вспоминала «как страшно стреляли пушки». А было ей тогда 17 лет.

В 1919 году она поехала в Петроград, поступила на естественное отделение Педагогического института. Наибольшее впечатление осталось у неё от лекций Ивана Петровича Павлова. Мама потом вспоминала: «он очень интересно рассказывал об условных рефлексах и вдруг, по ходу лекции, начинал говорить о современном положении России, о разрухе, об ошибках, которые делают коммунисты. Огромная аудитория (а среди слушателей было не мало членов партии) молча слушала. Никто не перебивал. Коммунисты только откладывали перья и не записывали критических замечаний И. П. Павлова, не записывали ничего до тех пор, пока он не переходил к рассказу об условных рефлексах».

Математику преподавал доцент Григорий Михайлович Фихтенгольц. Он был тогда молодым и очень красивым, многие студентки «вздыхали» о нём. Через 30 лет профессор Фихтенгольц вручал мне грамоту победителя городской Олимпиады школьников, а ещё через два года я постигал тонкости математики по его замечательному учебнику.

Петроград в 1919 году казался пустынным и вымершим. На бульжных мостовых между бульжниками пробивалась трава. Очень много жителей уехало из Петрограда, потому что в городе было голодно. Студенты получали хлебный паёк, но очень маленький, скудный, а прикупить на рынке стоило очень дорого. Мама писала родителям в Рыбинск: «Милые родители, денег не дадите ли? Жива и здорова. Ваша дочь Петрова». Поселили студентов в общежитии в самом конце проспекта Красных Зорь (так именовался тогда сегодняшний Каменноостровский проспект). Оттуда студентки босиком бегали через весь город в Мариинский театр. Мама вспоминала: «Туфельки брались в одну руку, в другую руку бралась дневная пайка хлеба, и вот босиком (для сбережения единственных туфелек) мы бежали с подругами в Мариинский театр. Перед театром туфельки надевались на ноги, пайка хлеба вручалась камердинеру, а он пропускал на галёрку. С упоением мы слушали Шаляпина. Как он пел!»

Но если дневная паечка хлеба отдавалась камердинеру, то здоровье от этого никак не укреплялось. Мама заболела, пришлось прервать учёбу, вернуться в Рыбинск. В Рыбинске она проучилась два года в местном среднем педагогическом училище, это

давало право преподавания в начальной школе. Преподавание дало заработок, удалось подкормиться, поправить здоровье. Хотелось учиться дальше, но было трудно. Отец мамы (мой дед) умер, приходилось рассчитывать на собственные силы. Началась длинная эпопея учёбы. Год мама работала в школе, подкапливала денег, затем училась год в Ленинграде, снова возвращалась в Рыбинск преподавать в начальную школу (больше, чем на год, денег не хватало). Такая учёба с перерывами тянулось до 1930 года. Только в 1930 году, в возрасте 29 лет она получила диплом о высшем образовании. Последние годы мама училась на географическом факультете — он к этому времени выделился из естественного. Географию мама очень любила, особенно географию экономическую — любила как науку о производительных силах, об их размещении в стране, о природных ресурсах и о правильном их использовании. В это время (вторая половина двадцатых годов) Советский Союз восстановил довоенный (до 1913 года) уровень производства, преодолел последствия гражданской войны и разрухи. Появилась возможность двигаться дальше, и теперь уже разумно, по единому плану размещать новые заводы и фабрики, рудники и электростанции. Помочь в этом крайне важном деле должна была география, а знание географии (хотя бы элементарной) позволяло каждому кончившему школу быть сознательным гражданином своей страны, понимать, зачем и почему ведутся стройки, куда идёт страна и какой она хочет быть. В те годы на географическом факультете преподавали талантливые профессора — Баранский, Буковецкий и другие. Мама с упоением слушала их и готова была нести полученные знания своим ученикам.

Там же, на старших курсах географического факультета, мама познакомилась со своим ровесником, Петром Евпловичем Фролковым, который тоже только на двадцать девятом году заканчивал вуз, тоже рос в крестьянской семье и с трудом пробивался к высшему образованию. Родом он был из Смоленской области, из деревни, расположенной недалеко от старинного русского города Рославля. Между Любовью Павловной и Петром Евпловичем вспыхнула любовь, в 1929 году они поженились (по тогдашнему распространённому обычаю даже не регистрируясь в ЗАГСе), а 13 апреля 1930 года у них родился сын, названный Юрием. Это был я.

В свадебное путешествие летом 1929 года родители, как истинные географы, поехали на Кольский полуостров, на берег Баренцева моря. Стоял июль, светило незаходящее солнце, было

тепло, и мама, и мама, как природная волжанка, храбро прыгнула с прибрежной скалы в море — и тут же с визгом выскочила на берег, на опыте убедившись в географической истине — в Баренцевом море даже летом температура воды не поднимается выше четырёх градусов. «Визг мой долетел, наверное, до Северного полюса», — вспоминала потом мама.

Характеры у отца и матери были одинаково твёрдые, сильные, волевые. К сожалению, спокойной семейной жизни это не способствовало, и уже вскоре после моего рождения родители разошлись. Я остался с матерью, отец уехал в Москву, и я его больше уже не видел.

О дальнейшей жизни отца я знаю только по рассказам. В Москве он преподавал географию и считался очень хорошим учителем. Несколько позже стал заведующим учебной частью школы. Не члену партии (в ВКП(б) он не вступил) подобные должности давались не очень часто. В Москве Пётр Евплович встретился с Екатериной Васильевной — женщиной с характером удивительно мягким и преданным. Новый семейный союз оказался прочным. В 1932 году у них родилась дочь Анна. С жильём в Москве в те годы было очень трудно, и Пётр Евплович вдвоём со своим товарищем — учителем — своими руками построили кирпичный одноэтажный дом на две семьи в углу дворика Суриковского училища рисования. Этот дом прослужил их семьям более 30 лет, пока уже в 60-е годы его не снесли, а жильцам дали квартиры в новых домах.

В 1941 году Петра Евпловича, как учителя, не сразу взяли в армию. Учителей в те годы было относительно мало, и их старались беречь, но в грозном декабре 1941 года, когда враг был под Москвой, призвали и его. Отец погиб 15 декабря 1941 года. 15 декабря — это значит, что он погиб во время наступления под Москвой, первого большого наступления наших войск. Пётр Евплович не дожил до Победы, но первый росток победы, первое большое наступление он всё же успел увидеть и принять в нём участие. Большого судьба не отпустила.

После окончания педагогического института мама получила распределение в Свердловск (сейчас снова ставший Екатеринбургом). Там строился гигантский завод — Уралмаш, набирали много рабочих, и нужны были учителя. Мама попросила поехать с собой свою мать, мою бабушку Софью Васильевну. Та согласилась, и в Свердловске мы жили втроём: бабушка сидела дома со мной, младенцем, а мама работала в школе, работала много, очень

много, потому что цены на все продукты начинали с 1930 года сильно вздулись и жить было трудно. Зато учителей не хватало и разрешали работать много, без ограничения — сколько выдержит организм. А школа была фабрично-заводской, сменной, так что мама работала и в первую и во вторую смену. Бытовые условия тоже были очень трудные — жили, как и другие, в наспех построенных сырых бараках. От сырости у меня был рахит, искривились ноги, и этот след — немного кривые ноги — остался на всю жизнь. С бараками связано и первое детское воспоминание, к сожалению, печальное: я ясно помню (мне было три года), как я лезу по деревянной лестнице на второй этаж нашего барака. И вдруг на площадке второго этажа оказывается чёрная собака, которая с лаем бросается на меня. Я с воплем лечу по лестнице вниз; дальше, естественно, ничего не помню. С этого происшествия началось моё заикание, которое продолжается много лет. Этот случай — единственное воспоминание, что осталось в памяти с трёхлетнего возраста, и единственное воспоминание о Свердловске. Более связные воспоминания относятся уже к 1934 году, когда мама перевелась на работу в Ленинград, в одну из ленинградских средних школ. Работа маме нравилась, предмет свой — географию — она очень любила. Совсем недавно на Урале она видела своими глазами, как по разумно обоснованному географией плану преобразуется Урал, как из сырьевого придатка центральных областей России он превращается в развитую промышленную область с собственными машиностроительными заводами, с грамотными и квалифицированными рабочими. А когда учителю нравится свой предмет, когда учитель увлечён им, то это увлечение передаётся и ученикам, и они начинают любить учителя. Маму ученики любили, могу сказать это совершенно точно, поскольку через несколько лет (в эвакуации) мне пришлось учиться в классе, где она преподавала, и я видел, как относились к ней сидящие рядом со мной ученики.

В 1934 году мама вступила в партию. Рекомендацию дал ей её двоюродный брат — Александр Варфоломеевич Лапин. Меньше чем через год по «Кировскому делу» (тогда, после убийства С. М. Кирова 1 декабря 1934 года арестовали тысячи людей) он был арестован, объявлен «врагом народа» и сослан на Колыму. Спасла его профессия бухгалтера. Опытные бухгалтера всегда ценились, он и на Колыме работал по специальности, что позволило ему пережить 20 колымских лет и дожить до реабили-

тации в 1955 году. Он вернулся в Ленинград, к семье и детям, но ненадолго. Здоровье было всё же подорвано, и он умер через год после возвращения.

Арест родственника отозвался и на маме. Её исключили из партии, а это означало отлучение от любимой работы в школе. И тогда мама решилась на крайне рискованный и отчаянный шаг: обменяла комнату, переехала в другой район, поступила в другую школу, и, заполняя анкету на новом месте работы, написала: «беспартийная», в ВКП(б) ранее не состояла». В случае разоблачения теперь грозила тюрьма, но мама рискнула. Риск оправдался. Из друзей никто не донёс, а посторонним мама не проговорила. Но один донос всё же поступил. Было это в 1938 году, и донос переслали директору (точнее — директрисе) школы, где работала мама. Директриса вызвала маму, прочитала донос. «Да, — ответила мама, — всё написано верно, и Вы имеете полное право уволить меня. Возможно, что дальше меня посадят в тюрьму. Но ведь на моё место Вам придётся брать другого работника. Будет ли он лучше работать, чем я? С другой стороны — НКВД сейчас завалено кучей дел поважнее моего, какие сейчас идут аресты — Вы знаете. Если Вы пошлётё в НКВД обтекаемый ответ — «пересланный вами сигнал проверяется, по результатам проверки будут приняты меры», то вряд ли у них скоро до меня дойдут руки ещё раз. Если же дойдут — то уволить меня никогда не поздно». Директриса не захотела терять хорошего работника, написала обтекаемый ответ — и до 1941 года у НКВД до мамы руки не дошли. Других дел было слишком много. А потом началась война.

Но, разумеется, жизнь под постоянным дамокловым мечом, под постоянной угрозой увольнения с работы и тюрьмы не очень способствовало здоровью. У мамы открылась язва желудка, пришлось перейти на строгую диету. На проспекте Майорова тогда работала диетическая столовая. Мама там питалась, а с собой брала и меня — не готовить же на меня одного. До сих пор помню, как мы ели там все блюда без соли и как это сначала казалось ужасно невкусно. Ничего, постепенно привыкли.

Впрочем, нервничать в те годы приходилось и самым благонадёжным гражданам. В 1940 году был принят Указ об уголовной ответственности с тюремным заключением сроком до двух лет за опоздание на работу более чем на 20 минут. Многих тогда посадили, по городу ходили устрашающие рассказы о том,

как поздали и были посажены в тюрьму знакомые рассказчика. А вот случай, реально произошедший с мамой: однажды утром она проснулась, взглянула на будильник и с ужасом увидела, что проспала, что ей нужно уже быть в школе и за 20 минут ей туда не добраться. В панике мама бросилась на улицу, захватила почему-то будильник под мышкой. Только на улице она увидела, что, во-первых, бежит без юбки, а во-вторых, что она ошиблась, что по будильнику до начала занятий в школе ещё ровно час. Она срочно заспешила домой. Впрочем, редкие в раннее время прохожие, видя её — без юбки, но с будильником под мышкой, — всё сразу понимали, и никто на улице не улыбался. Нервное время тогда было для всех.

Профессия учителя-географа, которую пришлось отстаивать для себя ценой большого риска, маме нравилась, и она работала с увлечением.

Дома она регулярно выписывала и читала журналы: «География в школе», «СССР на стройке», «Наша страна» (журналы эти читал и я, до сих пор осталось в памяти кое-что из прочитанного). С увлечением работала мама в школе и в военные годы, когда она вместе со мной эвакуировалась из Ленинграда и стала работать в школе большого села Вятское в Ярославской области (и вот, кстати, любопытный факт: в годы эвакуации язва желудка у мамы сразу прошла, хотя о диете, конечно, не приходилось и думать: просто в военные годы была твёрдая гарантия, что никто не пришлёт доноса на учительницу в глухом ярославском селе).

А вот в послевоенные годы работа перестала давать маме удовлетворение и стала постылой. Причина: с 1946 года наступило всеобщее засекречивание. Из журналов, из книг исчезли всякие реальные сведения о хозяйстве страны, о населении, о промышленности и транспорте. Приходилось рассказывать ученикам то, что было написано в учебниках, изданных в 1938 году, хотя вся страна, конечно, за 10 лет (и каких лет!) неузнаваемо изменилась. Но новые учебники, издаваемые в 1948 году и последующие годы, только повторяли учебник 1938 года, то есть содержали заведомую ложь, и эту ложь приходилось пересказывать ученикам. Это было противно. К маме снова пришла болезнь — на этот раз холецистит. Поэтому как только я весной 1954 года закончил Военно-морское инженерное училище, получил офицерское звание, а с ним — приличные деньги и возможность хорошо помогать матери, мама тут же немедленно

бросила школу. Ей было 53 года, но работать в школе больше не хотелось. Офицерского жалования на двоих хватало. А через два года мама стала получать пенсию.

Помимо обиды от того, что приходится пересказывать ученикам заведомо устаревшие и неверные сведения о стране, а всё новое было засекречено, мама начала смутно догадываться и о другом: она знала силу научно (и географически) обоснованного плана, видела сама, как работа по плану в короткий срок преобразила Россию, преобразила быстро, всего за 12 лет, с 1929 по 1941 г., преобразила гораздо быстрее, чем это было возможно при стихийном рыночном хозяйстве.

Но мама знала и злую силу антиплана, когда тоже организовано, по плану, всё хозяйство страны, все её руки и таланты тоже направляются к определённой цели, но к цели совсем другой — к подготовке большой наступательной войны. Эта цель была выгодна уже не народу, а правящему слою, который за четыре военных года, с 1941 по 1945 год, сжился с военными порядками и не хотел с ними расставаться.

Разумеется, эту новую цель нужно было скрывать от народа как можно крепче — отсюда и всеобщее засекречивание. Никогда в стране так много не секретилось и не скрывалось, как в 1946—1956 годах.

Я, конечно, не знаю в точности, так ли думала мама в те годы, но то, что в стране 1946—1953 гг. многое идёт очень не ладно, она уже чувствовала, и участвовать в этом она не очень хотела. Вот почему в 1954 году она досрочно, как только представилась возможность, ушла из школы, от учеников, которые когда-то принесли ей столько радости, и начала новую жизнь. Кончилась поглощавшая все силы работа, но открылась возможность много читать, часто бывать в театре, а мама очень любила театр, часто ходила в него, много читала. Постепенно собралась и небольшая библиотека любимых книг. Молодой талантливый хирург — туркмен, проходивший стажировку в Ленинграде, хорошо сделал операцию, и боли в печени надолго отступили (хотя и пришлось сидеть на строгой диете).

Каждое лето мама уезжала на 2—3 месяца в Эстонию, в Пярну, где очень подружилась с местной хозяйкой, эстонкой.

Огорчило (очень огорчило) маму вторжение наших войск в Чехословакию в 1968 году. Она очень переживала. Столько сил и труда отдала тому, чтобы подросшие ученики стали разумными, справедливыми и несли справедливость другим.

Не вышло, не получилось. Получилось что-то совсем другое — в 1968 году это стало, к сожалению, предельно ясным — и ей и мне.

Но мама оставалась жизнерадостной. Театр, книги, друзья очень скрашивали жизнь. Перелом произошёл лишь в 1978—1979 годах, когда нарастающая слабость заставила отказаться от летних поездок в Пярну, а затем и от походов в театр. Я подарил маме телевизор, но и он не принёс радости. «Знаешь, — говорила мама — я очень хочу умереть, устала, жаль, что у меня такая неудачная болезнь, с больной печенью легко не умрёшь, очень уж сильные боли начинаются при обострении, а так бы бросила все диеты и умерла бы скорей». Мысли о Боге никогда не приходили маме в голову. Как перестала она верить в Бога ещё в гимназии, когда наука открыла ей глаза на мир, так и осталась атеисткой до последних лет, перед лицом уже очень близкой смерти. Любопытно, что (по рассказам мамы), не только она, но и почти все её подруги — гимназистки — были атеистками, и становились ими, порывали с религией, сразу после того, как получаемые ими элементарные научные знания вступали в противоречие с рассказами священника о «сотворении мира»¹.

10 июля 1981 года мы вдвоём с мамой отпраздновали её 80-летие (поскольку летом мало кто из учителей оставался в городе, то так сложилось, что 10 июля к маме приходил я, а более торжественно, с друзьями, отмечались 30 сентября именины Веры, Надежды и Любви). А через несколько дней после своего восьмидесятилетия мама, возвращаясь из бани, упала и сломала шейку бедра. Её повезли в больницу, стали делать операцию, но сердце не выдержало.

Лучшими мамиными подругами были Клавдия Васильевна и Любовь Алексеевна, обе учительницы, обе матери сыновей, почти точно моих ровесников. Сын Любви Алексеевны Юра был на полгода старше меня, и когда родился я, то мама сказала: «Были две подруги Любы, пусть будут два сына Юры». И меня назвали Юрием. Ещё теснее была дружба с Клавдией Васильевной, с её сыном Львом, моим ровесником, мы росли вместе в Ленинграде, и в отпуск летом до 1941 года несколько раз ездили вместе. Затем наступил перелом. Муж Клавдии Васильевны был учителем, но призванный в армию в 1941 году,

¹ Смотри примечание 1 в конце книги.

он стал в армии политработником, сделал карьеру, после войны им выделили отдельную квартиру, дачу на Карельском перешейке. Появилось неравенство, и однажды, прощаясь, Клавдия Васильевна протянула маме два пальца. Мама никак не могла забыть этого и многолетняя дружба сразу распалась. Я об этом случае «с двумя пальцами» узнал много позже.

Ослабла постепенно и моя дружба с её сыном Львом, поскольку тоже как-то смутно ощущалось неравенство. Лев учился тогда на юридическом факультете вместе с детьми тогдашней партийной «номенклатуры». Я встречался с ними, но всё больше ощущалось «пропасть» между ними и сыном простой учительницы. Затем Лев рано уехал в Москву, и мы потеряли друг друга.

Дружба мамы с Любовью Алексеевной оставалась безоблачной многие десятилетия, несмотря на разность характеров. Любовь Алексеевна была человеком экспансивным, общественным. Первый муж её — Борис Соловьёв — был писателем и литературным критиком, второй муж — партийным работником, но очень скромного ранга. Сама Любовь Алексеевна относилась к той части интеллигенции, которая в 1945—47 гг. горячо поддерживала международную политику правительства, принимала близко к сердцу тогдашние наши разногласия с США. Бывая часто у Юры и Любви Алексеевны в 1945—47 гг., я слушал её горячие реплики о «человеке в коротких брючках» (речь шла о президенте США Трумане), о том, как Вышинский и Молотов хорошо и едко ответили на выступление американского госсекретаря — и т. п. Постепенно и я приучился следить по газетам за международной политикой, начал читать длинные, но очень неплохо написанные речи Вышинского, тем более, что выступал он в 1945—47 гг. на благородные темы, против попыток Франции и Голландии возродить свои колониальные владения во Вьетнаме и Индонезии.

Несколько позже к маме стали часто заходить её подруги: Анна Яковлевна и Вера Абрамовна. Они учились вместе с мамой в педагогическом институте, но потом в 1937 году их мужья были арестованы и расстреляны, сами они с 1937 по 1954 год сидели в лагерях в Казахстане и только в 1954 году были реабилитированы и вернулись в Ленинград, где возобновилась дружба с мамой. Из их рассказов я многое узнал о лагерях и ссылках.

Глава вторая

ДЕТСТВО И ВОЙНА

Переходя к рассказу о своей жизни, я подумал: а что в этом рассказе может представить наибольший интерес для читателя и вообще — а чем же интересна моя жизнь? Чего мне удалось достичь? После изрядных блужданий, о которых речь впереди, я стал научным работником, профессором, написал и издал с 1961 по 2009 годы более двух десятков научных книг. В 1990—95 годы я выступал ещё и как автор нескольких политических статей в газетах и журналах, сделал попытку хоть немного повлиять своим пером на политику своего государства, на самосознание народа, принял некоторое (не очень большое) участие в деятельности зарождавшихся в те годы политических партий России, но это всё же было лишь эпизодом. Поэтому, рассказывая о своей жизни, я основное внимание обращаю на то, как формировались научные интересы, на то, как любознательный юноша стал сперва моряком, но затем, когда всё же взяли верх научные интересы, стал научным работником, а потом — профессором.

Родился я в апреле 1930 года в Ленинграде, в 1931—33 годах был вместе с мамой в Свердловске, затем мы вернулись в Ленинград, где жили до 1941 года. Я уже упоминал, что отца своего в том возрасте, от которого могут остаться воспоминания, я не видел, а в 1941 году он погиб. Так что рос я без отца, но зато не был обделён материнской заботой и лаской. Ещё в годы своей учёбы мама пристрастилась к курению и курила очень много, но как только почувствовала, что беременна, курить немедленно бросила, поскольку это могло повредить будущему ребёнку. Хотя бросить курить ей было трудно, очень трудно (мама не раз потом

с ужасом вспоминала, как трудно было отвыкнуть от папиросы), но она бросила курить решительно и бесповоротно, поскольку интересы ребёнка для неё были важнее. Как я узнал позже, мама панически боялась грозы, молний и грома, но когда мы с ней оказывались под грозой, она стойчески делала вид, что гроза и гром её не пугают, что это совсем не страшно. «Я не хотела, чтобы мой сын боялся грозы, — объясняла она мне потом, — мальчик должен быть храбрым и ничего не бояться».

И действительно, сидя под грозой рядом со спокойной и весёлой мамой, я не понимал, конечно, что это спокойствие и весёлость даются ей лишь огромным напряжением воли, и искренне недоумевал, чего же страшиться в этой грозе?

Точно так же до поры до времени мама оберегала меня от невзгод и ударов, которые в 1935—41 годах падали на людей её круга. О неприятностях мамы, об исключении из партии, об арестах друзей, о возможности ей самой оказаться в тюрьме я узнал много позже. Первым ударом и переломом жизни, от которого нельзя уже было ни защититься, ни уберечь, стала Великая война, грянувшая 22 июня 41 года, когда мне было уже 11 лет. А до этого всё было безоблачно. Я ходил в детский сад, от которого у меня остались самые хорошие воспоминания. Вспоминаются большие светлые комнаты, много игр, приветливые воспитательницы. Много позже я узнал, что в этом же доме, где был наш детский сад, жил известный народоволец Николай Морозов, готовивший покушение на Александра II, отсидевший 27 лет в Шлиссельбургской тюрьме. Когда я ходил в детский сад, Н. Морозову было 80 лет, я мог его видеть только во дворе и, наверное, видел, но нам никто не говорил, кто он.

По вечерам мама забирала меня из детского сада и обычно сразу усаживалась за географические карты и книги, готовилась к завтрашним урокам или проверяла домашние задания учеников, а я приучался сидеть тихо, не мешать, разглядывать географические карты, а главное — много читать. Читать я начал с 4 лет, и потом читал много, очень много.

В детстве я был слабого здоровья, болел много и часто (возможно, сказалось то, что до трёх лет я жил в Свердловске в сырых бараках, да и питались мы тогда очень скудно). Мама несколько раз устраивала меня в детские санатории, где врачи меня немного подлечили.

Под новый год устанавливалась ёлка. Стекланные фигурки и шары были тогда дороги и маме не по карману, зато очень

дешеве продавалась бумага с выкройками, из которых можно было вырезать, а потом склеить тракторы, вагоны, мельницы и массу других интересных фигурок, которыми можно было украсить ёлку. Это было гораздо интереснее, чем развешивать готовые шарики, и ёлка приносила много радости.

В 1939 и 1940 годах мы с мамой вместе с Клавдией Васильевной и её сыном Лёвой ездили летом на Украину, в Полтавскую область. До сих пор помню приветливую украинскую природу, тёплую речку Сулу, где я учился плавать, бескрайние поля пшеницы и ярко-жёлтых подсолнухов. Летом предвоенного 1941 года мама благоразумно уже не поехала далеко, в начале июня мы сняли комнату в Карташевской, под Ленинградом, где и застало нас известие о войне. Мы сразу вернулись в Ленинград, и мама приняла очень разумное решение: много школьников организовано, целыми школами вывозили из Ленинграда, желая уберечь от бомбёжек. Мама поехала вместе со своей школой и с собой взяла меня. Третьего июля 1941 года мы уже выехали из Ленинграда и наш эшелон медленно двинулся на восток.

До этого времени удары судьбы, падающие на страну и взрослых людей, для меня, для мальчика, пролетали как непонятные тени. Я хорошо помню процессы над «троцкистско-зиновьевцами» только потому, что когда мы с мамой приходили в гости к её знакомым — учителям, то и хозяйева и гости сразу склонялись над очень большими газетными листами, где говорилось о каких-то изменниках и предателях, и обсуждали эти газеты взволнованно и очень горячо. Их взволнованность, тревога и озабоченность, видимо, как-то передавались и ребёнку, поэтому эти газетные листы так врезались в детскую память, хотя было мне тогда всего 6 лет.

За войной Германии с Польшей и Францией я уже следил по газетам, не понимая ещё, что же это такое война. Газетные известия о войне казались продолжением книжек о войне гражданской, а таких книжек я тогда читал много, но всё это было игрушечным, как те игрушки, ружья и пулемёты, которыми все дети, и я тоже, играли напропалую.

В 1941 году всё стало другим, страшным и грозным. Пока мама с 22 июня по 3 июля готовилась к отъезду со школой и собирала вещи, в городе формировались дивизии народного ополчения. Школа стояла на углу Майорова и Римского-Корсакова, а рядом, на углу Майорова и Садовой, собирались,

строились и уходили на фронт добровольцы, народные ополченцы, серьёзные, хмурые люди в гимнастёрках и с винтовками. Суровая, грозная, страшная атмосфера царила тогда в городе (ведь к 3 июля, всего за 11 дней, немцы прошли уже половину пути от границы до Ленинграда). По малости лет я ощущал тогда только её — эту грозную, страшную атмосферу начавшейся тяжёлой войны, не понимая ещё никаких подробностей.

Война коснулась меня меньше других. Наш эшелон, в котором мы ехали на восток, по счастливой случайности не бомбили, и я в вагоне читал задачник по арифметике для следующего, четвёртого класса, в который я должен был поступить в сентябре, решал эти задачки и радовался, что они так легко и хорошо у меня выходят. Кругом рассказывали, что вот другие эшелоны с детьми попадали под бомбы, были убитые, но нас это не коснулось.

К ноябрю 1941 года после ряда приключений, мама и я оказались в Ярославской области, в большом селе Вятское, 35 километров от Ярославля. В селе была средняя школа, куда маму приняли на работу, а я стал ходить в четвёртый класс. В декабре на железную дорогу, что шла в шести километрах от нас, не раз налетали немецкие самолёты, слышались взрывы бомб, но более близко война нас не тронула. Больше тревожила не война вообще, а холод и голод. Формально учителям полагались продовольственные карточки, но по ним нам ничего не выдавали месяцами. Начальство считало, что сельские учителя не пропадут, поскольку имеют огороды, но эвакуированные приехали безо всего, и поэтому приходилось трудно. Цены на рынке взлетели, и зарплаты учителя не хватало даже на четверть необходимого пропитания. Мама меняла на продукты ту немногую одежду и обувь, что мы взяли с собой, но всё равно было очень голодно. С наступлением зимы стал мучить холод. Лес от села отстоял далеко, и мне пришлось зимними ночами при свете луны ходить в дальние поля, огороженные жердями, и носить эти жерди для протопки нашей печки. Нам, как эвакуированным, выделили комнату в старом доме, с печкой, которая много дымила, но тепла давала мало.

Весной 1942 года маме, как и всем учителям, выделили участок земли под овощи и картофель. Началась эпопея вскапывания земли, посадки семян, прополки и т. п. Отнёсся я к этому очень серьёзно, поскольку сразу было ясно, что огород — это

вопрос жизни и смерти, или — что то же самое, но гораздо более конкретно — вопрос голода и сытости, а голод я уже испытал и убедился, что это — вещь очень неприятная, крайне неприятная, очень скверная. Между прочим, той же зимой 1941—42 года умерла от недоедания одна из учительниц той же школы, где работала и мама. Она была какая-то очень тихая, скромная, замкнутая, мало с кем общалась, никому не жаловалась. По-видимому, у неё было слабое здоровье, недоедание быстро её доконало, и зимой она умерла.

Испытав голод, я к огороду относился с величайшей серьёзностью. Как живые, и сейчас встают перед моими глазами тогдашние первые тоненькие проростки выращиваемых бобов, красивые фиолетовые ростки свёклы, а затем уже в начале июня — мощные, рвущиеся из земли зелёные стебли картофеля. Мне попался тогда в руки учебник по агрономии, с подробными рекомендациями, как сажать и выращивать различные огородные культуры, на какую глубину заделывать семена, на каком расстоянии и т. п. Я старательно следовал этим рекомендациям, и получилось совсем не плохо.

На следующий год, когда рекомендации учебника можно было скорректировать непосредственным опытом, всё пошло ещё лучше. На наших грядках овощи и картофель дали даже немного лучший урожай, чем у соседей, хотя те занимались огородничеством много лет подряд. Помню, как удивлялась наша соседка по огородным грядкам, средних лет женщина, мать молодой учительницы этой же школы. Она возделывала огород много лет и считала, что у нас, приезжих, ленинградцев, городских жителей, ничего путного не вырастет. Выросло, да ещё лучше, чем у неё, хотя, конечно, времени и внимания огороду уделялось очень много, а мною — особенно много, поскольку мама была сильно занята в школе: из-за того, что мужчины-учителя ушли в армию, нагрузка на оставшихся была большая.

Наиболее тяжёлой и голодной была весна 1942 года. Помню, с какой радостью смотрели мы на выросшие молодые листья свёклы на наших грядках. Мы обрезали их, варили в воде. Было очень невкусно, но всё же лучше, чем ничего. Потом пошли первые грибы. Я принёс их в тот день, когда мама пришла расстроенная — выдачу скудного хлебного пайка опять задерживали, а денег уже не было. Мама сидела грустная, а я говорю ей: «Не расстраивайся, у меня грибы». Она обрадовалась, а мне

это запомнилось крепко, т. к. это был первый случай, когда и я стал кормильцем. Шёл тогда июнь 1942 года.

Надо сказать, что в то труднейшее и голодное время о детях всё же заботились. Так летом 1942 года нас на месяц отправили в пионерлагерь, где кормили и даже — о чудо — давали по кусочку сладкой массы, которую почему-то называли «глюкозой». Было это, как сейчас догадываюсь, затвердевшей патокой, отходом производства Ярославского завода синтетического каучука, но в 1942 году, когда сахара не было совсем (Украина тогда была оккупирована полностью), выдача хоть чего-то сладкого детям была, конечно, большой заботой. Так и запомнилось лето 1942 года — пионерлагерем, «глюкозой», грозными и страшными вестями с фронта, где немцы снова двинулись вперёд, к Сталинграду и Баку, и учениями призывников — тогда в Ярославской области формировались всё новые и новые воинские части. Запыленные, усталые роты проходили мимо нас, рыли учебные окопы, несли на плечах длинные чёрные противотанковые ружья — всё это у нас на глазах, на окрестных полях.

Осенью мы собрали картошку со своего огорода и перешли на почти целиком картофельное питание — отварная картошка на завтрак, на обед и ужин. Маминой зарплаты хватало как раз на покупку 2 раза в месяц по 0,5 кило свиного сала. Мы резали его на очень маленькие кусочки и слегка добавляли а картошку. Запах получался приятный, вкуса, естественно, при таком малом количестве не ощущалось.

Быстро порвалась обувь, и я перешёл на ходьбу босиком. Нога быстро привыкла, и я ходил босиком даже по жнивью, по стерне, удивляя этим местных ребят, которые считали, что по стерне ходить всё же слишком колко. Как ни странно, но мы, городские дети, быстрее приспосабливались к трудностям военного времени, чем более консервативные крестьянские ребята. Сложнее было, конечно, зимой. На зиму мама сшила из огрызков одеяла некую странную обувь, которую мы называли «эвакуи», от слова «эвакуированные». В ней мы с мамой ходили в лес за дровами, рубили посильные нам молодые деревца и везли их домой на санках. По вечерам — читали. Читать приходилось при свете «коптилки», поскольку керосина было крайне мало, на керосиновую лампу не хватало, поэтому поступали так: из ваты свивался фитиль, пропускался в отверстие крышки, накрывавшей маленькую баночку с керосином,

и поджигался. Получался свет слабее, чем от свечи, но для молодых глаз достаточный. Так, при свете коптилки прочёл я зимой 1942—43 года «Войну и мир». А летом все дни были в работе — и на своём огороде, и на колхозных полях. Работали мы иногда вместе с мамой, иногда по одиночке. Мы теребили и расстилали лён, срезали стебли табака (махорку) для фронта, окучивали и убирали картофель. За лето 1943 года заработали мы 150 трудодней в разных колхозах, но получали на трудодень очень мало. В одном колхозе, помню, выдавали 6 граммов ржи на трудодень, в другом — по 250 граммов, остальное забирало государство. Основным кормильцем был огород.

С деревенскими ребятами, своими сверстниками, я сходилась мало. Во-первых, я был приезжий, городской, чужой. Во-вторых, после тяжёлого 1941 года усилилось моё заикание, что ещё больше отдаляло от сверстников, любивших подразнить, поэтому о внутренней жизни большого русского села Вятское, где я прожил 2,5 года, я мало что могу рассказать. Помню, что по вечерам ходили по улицам группы парней лет по 16—17 (старших забирали в армию) и пели: «Наша шайка небольшая, только восемь человек, кто навстречу попадётся — искорябаем навек». Почти каждое воскресенье после очередной танцульки следовала драка деревенских парней. Подравшись кулаками и не удовлетворившись этим, они выдергивали колья из оград и начинали драку кольями. Такая драка часто уже заканчивалась убийством. Об убийстве говорили в селе пару дней, потом забывали, и всё повторялось сначала. Деревенская жизнь не привлекала меня. Зимой я много читал (благо в большом селе было всё же две библиотеки — школьная и при местном клубе), а летом и осенью было много работы — и в своём огороде и на колхозных полях. Но работа шла на воздухе, на природе и не казалась постылой и обременительной. Ярославская земля была хороша. Вот отрывок, который я в школьном сочинении (оно сохранилось) писал об осенних днях о тех местах, писал через пару лет, когда воспоминания были очень живы: «Иногда после дождливой ветреной погоды в конце августа как-то внезапно наступают тихие, солнечные дни. На небе ни облачка, оно уже не синее, бездонное, как в дни лета, а голубое, даже белёсое и какое-то близкое, осязаемое; огромным куполом нависло оно над побуревшими полями. И солнце сейчас уже не летнее, жаркое и радостное, теперь оно холодное, равнодушное, не греющее.словно ярко блестящий серебряный диск повис

высоко в небе и светит, но не греет. Но не нужны теперь жгучие солнечные лучи: урожай созрел. Желтеет бескрайнее море созревшей пшеницы. Полосы побуревших головок льна мелькают среди жёлтых овсяных полей. Горох пожелтел и поник в земле. Даже зелёный клевер начинает чернеть и съживаться. Только картофельное поле сочной зеленью выделяется на общем фоне, да зелёная щётка озими уже пробивается сквозь серые комья вспаханной земли. Тихо кругом, не слышно ни пения птиц, ни стрекотания кузнечиков. Вся природа помертвела и замерла под бледными, холодными лучами поблѣкшего солнца.

К полудню начинает шелестеть лёгкий ветерок, и отовсюду взмывают в воздух тысячи блестящих серебристых нитей: это переселяются пауки. Густая сеть плывущей в воздухе паутины заслоняет солнце, и оно кажется окружённым тонко-лучистой сверкающей короной. Но вот ветер стихает, серебристые нити паутины ложатся на пыльный бурьян, и снова тихо кругом, только солнце склоняется к закату... Такая погода может продолжаться долго, становится всё холоднее и холоднее. Наконец, первый мороз крепко сковывает землю. Морозный воздух кажется плотным и упругим, он бодрит и опьяняет. Первые укусы мороза покалывают щѣки. А небо такое ясное, ярко-голубое, прозрачное, словно хрустальное. Холодные, но яркие лучи полетному сияющего солнца слепят глаза. Весело трещат под ногами тонкие льдинки замерзших луж. А вокруг расстилается безотрадная картина поздней осени. Первый мороз сразу разрушает всё. Когда-то зелёные кусты картофеля стоят бурые, поникшие, скрюченные суровым дыханием холода. Грязно-бурая истоптанная скотом стерня тянется без конца, чередуясь с полосами невозделанной земли. На месте нежной зелени свѣклы видна лишь перекопанная, изрытая ямами после уборки корней свѣклы земля. Даже яркая зелень озими потемнела, поблекла, поникла под жгучими укусами мороза и с нетерпением ждѣт первого снега. Тишина нарушается лишь резкими криками ворон, беспокойно снующими в воздухе, да вдали, над серыми пятнами деревень, медленно всплывают к небу первые дымки топящихся печей. Скоро наступит зима».

Надо отметить, что село Вятское, где мы жили, стоит среди широкой распаханной равнины. Леса были довольно далеко и не были густыми, а поля казались безбрежными. Жители самого села, впрочем, занимались больше не хлебопашеством, а огородничеством — почти у всех были обширные огороды, где вы-

ращивались огурцы для засолки. Село славились солёными огурцами, которые в мирные годы солили сотнями бочек. В военное время спрос на солёные огурцы резко упал, жители засадили огуречные огороды картошкой и на этом первый год сильно пострадали: огурцы требовали хорошо унавоженной «чёрной» земли, а на такой земле картошка давала мощную ботву, чуть не в пояс, но очень мелкие клубни, почти как горох.

Так, в сельских заботах, прошли 1942 и 1943 годы. А в 1944 году пришла весть о снятии блокады Ленинграда и мама сразу стала стремиться вернуться. Просто так в Ленинград не пускали, но Кировский завод объявил о вербовке рабочих среди жителей Ярославской области, и мама завербовалась воспитательницей детского сада Кировского завода. Было объявлено, что в июле 1944 года в Ярославле будет сформирован эшелон завербованных, идущий в Ленинград, и мы собрались в дорогу.

В июле картофель и овощи на нашем огороде уже начинали поспевать и мы продали их «на корню». Поскольку наш огород был образцовым, чуть ли не лучшим в селе, то мы продали его за 3000 рублей — тогда это были большие деньги. Они очень пригодились нам в дороге, поскольку мы ехали «с приключениями»: документы оказались оформленными неправильно, нас ссадили в Бологом, вернули в Ярославль, пришлось всё переоформлять, ехать снова. На это ушло две недели.

Но вот в первых числах августа 1944 года показался Ленинград, и наш эшелон медленно въехал на территорию Кировского завода. Открылось страшное зрелище: огромный завод, стоявший всего в 8—10 километрах от линии фронта, был весь, до основания, разрушен немецкой артиллерией, но на нём работали люди. Вместо завода на несколько километров тянулся страшный пустырь, густо засыпанный горелым кирпичом и обломками металла. Среди этого пустыря лишь кое-где возвышались остатки и обломки стен бывших цехов, но за каждой стеной стоял танк, а вокруг него копошились и чинили его люди, рабочие. Горели костры, стучали молотки.

Поражённые до глубины души, молча смотрели мы из дверей вагонов на то, что осталось от огромного Кировского завода.

Не меньшее потрясение испытали мы, когда на следующий день увидели улицы города. Разрушенных домов было не так много, но в уцелевших почти не было стёкол. Большая часть окон была забита фанерой. Зато на тех улицах, где была булыжная мостовая, все промежутки между булыжниками были густо заби-

ты мелким стеклянним боем, сквозь который пробивалась зелёная трава. Город стоял пустынный, тихий, людей было очень мало. Скверы и сады были раскопаны под огородные грядки и на них зеленел картофель. Даже небольшой сквер перед Исаакиевским собором был поделён на огороды и засеян картофелем.

Наш дом на проспекте Римского-Корсакова, 93, где мы жили до войны, остался цел. Цела была и наша комната, исчезли только книги и мебель. Оказалось, что в ноябре 1941 года в нашу комнату вселили семью из разрушенного при бомбёжке города дома. Зимой они топили книгами, спасаясь от замерзания, а потом умерли, умерли от голода в нашей комнате.

Воспитательницей детского сада Кировского завода мама работала очень недолго, ей удалось перевестись в обычную школу учителем, а в сентябре пошёл в седьмой класс и я. В том же классе оказался и Юра Соловьёв, сын маминой приятельницы Любови Алексеевны, о которой я уже писал, и там же родилась наша «дружба четверых»: я, Юра, Слава Домбровский и Володя Булдырев. Эта дружба продолжалась потом много лет.

Учили нас хорошие ленинградские учителя, которым тоже приходилось не легко. Пожилой учитель математики приходил к нам зимой на уроки в валенках и во фраке. Да, в самом настоящем фраке, быть может в том самом, в котором когда-то венчался наш учитель. Сейчас этот фрак, извлечённый из сундука, заменял ему изношенный или проданный костюм. Поскольку объясняя геометрию, он говорил «треугольник а, бе, це», то мы, жестокие подростки, прозвали его «бе во фраке».

Помимо школы я ещё ходил на кружок истории в Дом пионеров, где нам необычайно красочно и живо рассказывали о Ганнибале, о Спартаке приглашённые из университета профессора.

Самым неприятным было постоянное ощущение голода. Огорода у нас теперь не было, а выдаваемого по карточкам решительно не хватало. Постоянное ощущение голода очень докучало. Зато с фронтов поступал радостные известия, армия наступала, я следил за её победными продвижением по маминым географическим картам, а в мае 1945 года война кончилась. Ещё в конце апреля гремели по всем радиостанциям сообщения о битве за Берлин, затем победные салюты о взятии Берлина. Затем ещё более грандиозные салюты из тысяч пушек 9 мая — война окончилась. Все были потрясены, на всех улицах кипело и бушевало народное ликование, но 9 мая прошло, а сытнее не стало.

Глава третья

ГОДЫ СЛУЖБЫ НА ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, «ДЗЕРЖИНКА» И КИМС

В это время (весной 1945 года) мать Юры — Любовь Алексеевна Соловьёва, вернувшаяся, как и мы, из эвакуации, стала работать не в школе, а в Ленинградском военно-морском подготовительном училище, открытом в 1944 году, которое обучало по программе 8—10 классов и в то же время готовило к поступлению в высшее военно-морское училище. Летом у воспитанников училища была морская практика, они плавали на парусниках и учились морскому делу. Обо всём этом рассказывала Любовь Алексеевна, и моё романтическое сердце усердного читателя Жюль Верна и его романа «Пятнадцатилетний капитан» не выдержало — в августе 1945 года я поступил в Подготовительное училище, в котором нас сразу поставили на казарменное положение — мы жили в училище круглые сутки, отпускали к родителям нас один раз в неделю, да и то не всегда. Так в пятнадцать лет я оказался оторван от матери и начал свою самостоятельную жизнь. Кормили нас в училище не очень сытно, а точнее — в 1945 году ещё вполне прилично, даже хорошо, а в 1946 году — много хуже, особенно после знаменитого приказа Сталина, который нам зачитали перед строем: «в связи со сложным продовольственным положением страны, разрухой и неурожаем, приказываю:

Снизить выдачу овса лошадям Красной армии на 1 кг в день.

Снизить выдачу хлеба личному составу Красной армии на 100 граммов в день».

Лучше стало только в 1947 году. В том году отменили хлебные карточки и ввели свободную продажу хлеба. Хорошо помню, как я зашёл тогда в булочную, купил чёрного хлеба и в первый раз за прошедшие три года хорошо наелся. Хлеб был мягкий и очень вкусный, было это уже более чем 50 лет тому назад, а я помню. В дальнейшем за эти, прошедшие с тех пор, 50 с лишним лет у меня было не мало разных неприятностей, но голода не было, и это уже хорошо.

Поступил я в Подготовительное училище в июле 1945 года, а в августе нас уже отправили в морской лагерь на полуостров Койвисто, там мы учились ходить на шлюпках (под парусами и на вёслах), это было очень интересно и увлекательно. В конце августа лагерь свернули, я попал в последнюю группу, мы забрали остатки имущества лагеря, пришли на железнодорожную станцию (точнее — маленький разъезд в лесу), а нам говорят: сегодня, 30-го, поезд должен быть, но его не будет, а вообще ходит он по чётным числам. Впереди у нас было 31 августа и 1 сентября, а хлеба нет, уже кончился, до города 136 километров. Пошли в лес, там сыроежек — хоть косой коси. Набрали, сварили в воде, три дня питались одними грибами. Без хлеба они казались очень невкусными. На четвёртый день пришёл поезд, и мы вернулись в город, в училище.

На следующий, 1946 год, летом мы уже ходили в плаванье по Балтийскому морю на парусной шхуне «Учёба». Это был небольшой парусник с хорошим стальным корпусом и тремя высокими мачтами, на которых поднимались паруса. Шхуна когда-то была построена как грузовая, торговая, а затем была преобразована в учебный корабль и получила название «Учёба». На ней мы узнали суровость штормового моря, когда нас качало и бросало, а по палубе носилась волна. Узнали и прелесть плавания под парусами при умеренном ветре, когда корабль бесшумно скользит по воде, а паруса парят над ним, как огромные крылья. Паруса поднимались по сложным командам. Если надо было поднять все паруса, то звучала команда: «на фалах и ниралах, гафель-гарделях и деррик-фалах, топсель-фалах и оттяжках (а это всё — названия тросов, помогающих поднять тот или иной парус) — паруса поднять». По этой команде каждый тянул тот трос, на котором он был расписан. Я, например, был расписан тянуть деррик-фал; каждое слово команды имело смысл и очень опасно было что-либо перепутать. В первый свой поход в море мы, конечно, всё перепутали; команда,

стоящая на гафель-гардели, тянула неправильно, и шхуну нашу сразу развернуло и понесло на камни. У самых камней мы всё же успели правильно поднять паруса и проскользнуть мимо камней, не напоровшись на них.

Плавание было только в летние месяцы, зимой шла учёба, как в обычной школе. Учили нас хорошие учителя, поскольку училище платило больше, чем обычная школа, и могло отобрать лучших. Очень докучали частые наряды, когда мы ночью стояли с винтовками со штыками (но без патронов) у многочисленных военных складов с разным имуществом. Считалось, что это приучает нас к «службе», но спать ночью мучительно хотелось, и вряд ли что, кроме отвращения, эти наряды выработывали.

Помимо учёбы и нарядов мы много работали и на восстановлении собственного здания училища, которое сильно пострадало от обстрелов и бомбёжек, и на восстановлении других зданий. Так, например, я восстанавливал Измайловский театр. Сейчас он снова обветшал и разрушается, спектакли там поэтому сейчас не идут и восстанавливать его пока никому, рабочих никак не могут найти (хотя, впрочем, обещают, что рабочих найдут и театр через 2—3 года восстановят), а тогда мы всё восстановили сами, и, бывая в этом театре в последующие годы на разных хороших спектаклях, я с гордостью думал: а театр-то восстанавливал я!

Когда мы восстановили здание нашего училища, выяснилось, что не хватает мебели: ни столов, ни стульев. Тогда начальник училища вместо того, чтобы выпрашивать мебель у руководства города, послал нас на мебельную фабрику, которая испытывала недостаток рабочих. Мы работали там, сменяя друг друга, каждый работал по два часа в день. Выполняли, конечно, простейшие операции на мебельных станках, но вполне справлялись. Познакомились попутно со всем мебельным производством. За нашу работу фабрика платила училищу мебелью, и через полгода мы гордо сидели на собственных стульях, за собственными столами.

Докучало, что нас очень много заставляли маршировать при подготовке к парадам, которые тогда проводились два раза в год — на 1 мая и 7 ноября, а «подготовка» начиналась за два месяца и шла каждый день. Нас часами гоняли маршировать на площади у памятника Кирову. После очередной такой маршировки я даже разразился стихами, основную вину возложив

на императора Павла Первого, которого мы тогда как раз проходили по истории:

«Кол ему в живот, проклятый Павел,
Выдумал он чёртову муштру,
Хоть бы это нас Господь избавил
Подниматься рано поутру
И на площади, пустынной, мерзкой,
Медленно отмеривать шаги...»

Учёба мне нравилась и шла хорошо. Я участвовал в городских олимпиадах школьников по математике и физике в 1947 и 1948 году, занял первое место. На заключительной церемонии профессор Г. М. Фихтенгольц пожал мне руку и вручил грамоту и приз — книгу Р. Я. Поля «Введение в оптику». Она, много раз перечитанная, и сейчас у меня. Поскольку учёба и наука мне нравились, а маршировка и наряды — совсем не нравились, то я начал задумываться — а правильно ли было моё решение о поступлении в военное училище, и не нужно ли его изменить. Мы ещё числились лишь «воспитанниками» военно-морского флота, присяги ещё не принимали, в принципе мы могли, получив аттестат зрелости, поступить в гражданский вуз, а в высшее военное училище не поступать. Однако руководство училища усиленно убеждало нас, что отказ от поступления в военное училище будет «не патриотичным», на грани «измены Родине», а кроме того, нам объявили, что те, кто хорошо учится и кончит с медалью, могут подавать заявления о поступлении в Военно-морское инженерное училище имени Дзержинского и даже на его кораблестроительный факультет (лишь потом я узнал, что этот факультет никаких кораблей не строит и выпускники его отношения к кораблестроению не имеют). Я получил аттестат зрелости с серебряной медалью и решил поступать в училище им. Дзержинского ("Дзержинку"). Это было, как я понял позже, большой моей ошибкой. Было бы много лучше, если бы я поступил в 1948 году на физический факультет ленинградского университета. Я советовался тогда с академиком Владимиром Ивановичем Смирновым, поймав его во дворе университета, но он, как очень осторожный человек, мне ничего не посоветовал, и в сентябре 1948 года я оказался принятым в училище им. Дзержинского, а в октябре 1948 года мы приняли присягу. Теперь дороги назад уже не было — уйти из училища